

Илья Рейдерман, Евгений Голубовский

Кем я не стал,

или Разговор под аккомпанемент строк Бродского

– Илья, мы знакомы с тобой много лет, я публиковал твои стихи, статьи о музыке и музыкантах и, задумав это интервью как своеобразное поздравление с 75-летием, почувствовал, что сегодня ты интересен мне как мыслитель, как человек, взрывающийся ассоциациями. И я решил взять раннее стихотворение Иосифа Бродского, которое я запомнил (да и ты, наверное) из самиздата начала 60-х годов, и попросить тебя воспринять строки поэта как мои послы к тебе, предложения к размышлению над своей жизнью, судьбой, творчеством, прошлым, настоящим и будущим...

**Каждый пред Богом наг.
Жалок, наг и убог.**

**В каждой музыке Бах,
в каждом из нас Бог.**

**Ибо вечность – богам.
Бренность – удел быков...**

**Богово станет нам
сумерками богов.**

**И надо небом рискнуть,
и, может быть, невпопад
еще не раз нас распнут
и скажут потом: распад.**

**И мы завоем от ран.
Потом взалкаем даров...
У каждого свой храм.
И каждому свой гроб.**

**Юродствуй, воруй, молись!
Будь одинок, как перст!..
...Словно быкам – хлыст,
вечен богам крест.**

– Спасибо за неожиданный дар, который поначалу не оценил. За возможность говорить, что хочешь и как хочешь, ибо «надо небом рискнуть, и, может быть, невпопад». Конечно, это юный, задиристый Бродский. Моего возраста он не достиг. А вот оказался бы в моем положении, – пришлось бы размышлять об итогах непомерного риска. Неужто – «невпопад»? Есть утешительная мысль – промахнувшись и не попав в малый круг избранных, ты все же куда-то попадаешь. Хотя и не очень знаешь, куда. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» (Тютчев).

**«...еще не раз нас распнут
и скажут потом: распад».**

– Я начну с конца. Поколение шестидесятников можно сравнить с рыбами, выпрыгивающими из воды. Ибо поверхностный слой загрязнен, не хватает кислорода. Выпрыгнули – и пообщались на лету. Так сказать, вне времени, в некоем виртуальном желательном-гадательном будущем. А то, что вместо этого будущего будет наше какое-то несколько сомнительное настоящее, – мы даже и в страшном сне не могли себе представить. Но зато как свободно лились ночные разговоры за чаем или бутылкой вина! Но после моего отъезда из Кишинева разговоры прекратились. В Одессе такого собеседника, как Вадим Рожковский, – у меня не нашлось. И у меня не было иного выхода, как уйти «в глубину». Но если продолжить рыбью метафору (а она в моих стихах встречается часто), то при погружении во все большую глубину – сгущается тьма, оглушает тишина, да и давление толщи вод нарастает.

И чтобы тебя не раздавило, необходимо ответное «внутренне давление», предельное напряжение душевных сил. Выжить можно было, лишь нырнув в книги, в творчество любимых поэтов.

«Будь одинок, как перст!..»

– Одинок вовсе не потому, что следуешь этому императиву. А потому, что хотя бы номинально общаться можно лишь будучи ближе к социальной поверхности, пусть даже и в «подполье». Подполье, андеграунд – это и было место коллективной духовной жизни, совместного выживания как противостояния. Но глядя с некоторой исторической дистанции, видишь, что многие «люди из подполья» не выдержали нравственного испытания, и как только это стало возможно, потянулись к комфорту и к душевному самодовольству. Видимо, их «протест» носил лишь социальный и эстетический характер, и «напряжение духа», которое он порождал, оказалось явно недостаточным. Очутившись в глубине одиночества, ты должен понять: мотив твоего несогласия с окружающей жизнью – метафизический. Не позволяя давлению анонимных сил себя раздавить, я, как и многие из своего поколения, переживал не вполне осознаваемые мутации. И вот все чаще в моих стихах стало появляться слово «вечность».

Книгу «Вечные сны» я первоначально хотел назвать «Из глубины». Имея в виду начальные слова католической молитвы «De profundis» – так называлась исповедь Оскара Уайльда, написанная им в тюрьме, которую я прочел в дореволюционном томике собрания его сочинений в бумажной (даже не картонной!) обложке! «Из глубины зываю» – из глубины отчаяния и беды. «Из-под каких развалин говорю, / Из-под какого я кричу обвала? / Я в негашеной извести горю / Под сводами зловонного подвала». Это строки из черновика Ахматовой, – Лидия Корнеевна Чуковская утверждает, что все строки стихотворения зачеркнуты, кроме двух первых и двух последних. «Зловонный подвал» более чем выразителен, особенно если вспомнить более ранний «Подвал памяти», куда спускаешься с фонарем по скользким ступенькам, страшись чего-то. И там та же рифма: подвал – обвал. Могу понять мотив, по которому зачеркнуты строки, – нельзя выдавать боль столь открыто, читатель привык к величественно-сдержанной

интонации Ахматовой, которой сродни муза Трагедии. А катарсис в трагедии возникает, когда видишь героя, обладающего не просто мужеством, но нравственным достоинством: он будет биться до конца, зная о своей обреченности.

И вот тут (прости меня, Евгений!) – строки юного Бродского в сравнении с этим так поверхностны! Так же, как и Вознесенского, Евтушенко – всех тогдашних «молодых». В них эдакое лихое шапкозакидательство. К подлинности трагедии можно прийти, как пришел поздний Бродский, и даже Роберт Рождественский в своих последних стихах. Горьких и даже страшных стихов пишется много. Но в принципе, неспособность к трагедии как болезнь современной культуры – это диагноз. И я его уже лет двадцать как поставил. Где нет подлинности трагического, – там ирония или смертная тоска.

«Подвал» у Ахматовой – образ глубины. Я пытаюсь очертить концепт глубины, противопоставив его концепту поверхностности, в выстраивании которого особенно усердствовал самый передовой боец за постмодернистское будущее Жиль Делез. Он утверждал, что нужно жить на поверхности, ни за что не цепляясь, ни в чем не укореняясь, ведя себя, как номады, кочевники, из любопытства и желания приключений совершающие набеги на те или иные области. Замечательный образ максимально истончившейся поверхности – пленка мыльного пузыря, заманчиво переливающегося всеми цветами радуги. Представим себе человека, существующего на такой поверхности – и живущего все более поверхностно! Доходя в своей незаконной свободе до полного самоопустошения. А потом, может быть, выбрасывающегося из окна.

Этому я и противопоставляю «глубину». Она требует уединения и беспощадной работы собственной совести. Когда «и горько жалуясь, и горько слезы лью» (Пушкин). Она сопряжена с неизбежным уединением сознания, готового говорить «последние слова». Не выговоренная правда – душит. «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», – писал Пастернак. Простота здесь – синоним того глубокого, что мы иногда называем мудростью. Но глубокие истины поверхностному взгляду кажутся банальными. И в самом деле, ну что нового автор нам

сказал? Мы и сами все это знаем... А вот – не знаем! Ибо автор это выстрадал. Постиг, спускаясь, как в шахту, в глубину своей беды, своей судьбы, своей жизни.

Если говорить о себе, то мне муза трагедии хорошо знакома – она витала над многими стихами моей, может быть, лучшей книги «Земная тяжесть», странно составленной и плохо изданной. «А покуда – пыль глотаю, / побежден и втопан в прах. / Книгу бедствия листаю, / где повсюду – горе, страх. / Не могу читать. Довольно! / Где же истина? Где соль? / В том и истина, что – больно. / Там и истина, где боль».

**«И мы завоем от ран.
Потом взалкаем даров...»**

– Самое время поговорить о биографии и судьбе. После эвакуации занесло меня с мамой в маленький донецкий городок Дружковка. Там и вырос. Возле реки Торец. С трудом вспоминаю обрывок ночного пейзажа: «Отраженного света колонны / погружаются в глубину». И работал потом на торецком заводе. Разнорабочим на складе, по существу, грузчиком. Нужно было делать себе «рабочую биографию». Иначе в литинистут не примут, а я хотел только туда. Все равно не приняли, и притом не один раз! И стихи пытался писать соответствующие: «Катали проволоку, складывали проволоку, / и кровь в висках стучала, будто колокол, / и лился пот, и были не с руки / увесистые круглые мотки». Когда я был уже в Перми, эти стихи предлагались в журнал «Урал». В Дружковке я начал собирать грампластинки, слушать музыку, читать и писать стихи. Но разговаривать было решительно не с кем – интеллигентных людей катастрофически не хватало. Был, правда, один, очень высокий, читавший наизусть Маяковского, но, увы, выпивоха и к тому же инструктор горкома партии. С ним и подружился, да еще со своим сверстником Эдуардом Мацко, – он жив и руководит местной литературной ассоциацией «Современник». Мы с ним учились в машиностроительном техникуме, и был он известен как вратарь местной футбольной команды. С ним связана одна из историй о том, «как я не стал...».

Как я не стал машиностроителем. Мама очень настаивала, чтобы я пошел в техникум, – а техникум был один. Теоретические

предметы мне давались легко. Но одним из главных предметов было черчение. А я не мог вычертить безукоризненно прямой линии. Лишь потом я узнал, что виноват дефект зрения – астигматизм. И вот пересдача летом, и друг Мацко сделал за меня чертежи. Хорошо начертил. Так что удивленный преподаватель спросил: сам? Не хватило духу нахально соврать. Признался: нет... Вылетел.

Как я не стал крупным финансистом. Оказался в Тбилиси – там жил мамин брат. Он решил меня устроить в финансово-кредитный техникум. Но русская группа была только на втором курсе, нужно было дополнительно сдать разные предметы, главным из которых был бухгалтерский учет. Сидел под деревом, учил итальянскую бухгалтерию. Освоил! На уроках писал стихи – одно из стихотворений, «Урок грузинского», вызвало скандал. Но не выгнали. Хорошие были люди! Все умилялись, как я, такой маленький, приехал в большой незнакомый город и живу самостоятельно (от дяди я быстрее ушел, увидев, что на меня глядят как на нахлебника). Окончил техникум с отличием и попал на Кавказ, в селение Старый Лескен под Нальчиком. Должность – фининспектор. Все бы хорошо, но однажды мой начальник оставил все дела на меня, я поневоле стал разбираться и увидел, что все ужасно запутано, заподозрил мошенничество, начал все считать, вспомнив уроки бухгалтерии. Когда начальник вернулся, он взялся за голову и поспешил от меня поскорее избавиться. Уволили «по сокращению штатов»! (Кстати, диплом финансиста мне впоследствии однажды пригодился, когда меня брали на работу в промышленный отдел газеты «Вечерний Кишинев», – в стране как раз шла экономическая реформа, которую нужно было освещать.)

Так я и оказался снова в Дружковке, где сначала пытался быть страховым агентом, а потом стал рабочим на складе. Затем решил поехать в Пермь поступать на филфак университета. Решив, что на Урале на мою фамилию будут смотреть не так косо. И вправду, когда я потом был на практике в школе в Чердыни (тогда я не знал, что там когда-то был в ссылке Мандельштам), я увидел чрезвычайно милых людей с несколько приплюснутыми лицами, которые дружно лепили пельмени и говорили: мы «чердачники», нам все равно, какой ты национальности, лишь бы человек был

хороший! Но на вступительных экзаменах меня провалили. Кажется, все сдал на отлично, а по сочинению – двойка. За «неграмотность»! Поскольку очень любил ставить тире вместо запятых.

А сочинение было на тему «Мой любимый поэт», и писал я о Багрицком. Потом выяснилось, что сочинения проверял человек, который приходил на лекции в валенках и особым авторитетом не пользовался. Я все равно решил остаться в Перми и устроился в Дом культуры железнодорожников заведующим читальным залом библиотеки. О, сколько там было старых книг! Да еще и место в общежитии дали!

Как я не стал доцентом-филологом. Университет оказался далеко не провинциальным – в нем бурлила жизнь. Из Москвы приехала Римма Васильевна Комина, из Киева – изгнанные как «космополиты» Сарра Яковлевна Фрадкина с мужем, известным специалистом по истории Англии Львом Ефимовичем Кертманом. Я увидел подлинных интеллигентов, благородных и умных людей, общение с которыми меня и сформировало. Нашел и компанию студентов, в которую входила и Лина Кертман, дочь Льва Ефимовича. Только что она прислала мне из Израиля свою книгу «Безмерность в мире мер. Моя Цветаева», где как раз вспоминает, как мы открывали Цветаеву. Мы разыскали в библиотеке книжечку Марины «Версты» (не уничтожили!), и сидя в читальном зале, переписали ее всю от руки. Переписывали по очереди, подложив копирку, чтобы каждый получил свой экземпляр. Такие листки где-то еще лежат в моем архиве.

Библиотека была потрясающая. Так случилось, что мне разрешили сдать экзамены сразу за два курса, а потом ректор не решил «скакать через курс», и я, получая повышенную стипендию, имел возможность не ходить на лекции и целый год просидеть в университетской библиотеке. Помню, я взял книгу Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец». Я был вторым ее читателем – первый брал ее ровно двадцать пять лет назад. Лифшица расстреляли, а книга чудом уцелела от «чисток». Я выступал на научных конференциях и публиковал работы о драматургии Б. Брехта, но когда защитил диплом и должен был остаться на кафедре зарубежной литературы, вдруг понял всю двусмысленность своего положения. Мой научный руководитель был

ортодокс-реакционер. А дружил я с совсем другими людьми. Настал момент выбора: с кем ты? И я... вернулся в свою Дружковку.

Как я не стал литературным критиком. Сидя на «маминих хлебах», я стал писать большую статью о молодежной прозе. Помнится, списался с кем-то – с «Литературной газетой», с каким-то журналом. Заказ был получен. Но это была для меня не работа, а, так сказать, свободный полет, и потому писал я до-ол-го! И тут пришел милиционер. В буквальном смысле слова – постучал в дверь, вошел в квартиру, уселся и спросил: где вы работаете? И когда я сказал, что пишу, он ответил, что согласно закону о тунеядстве (тому самому, по которому осудили Бродского, «делая ему биографию», как говорила Ахматова), он должен будет привлечь меня к ответственности. И дал мне месячный срок. Уходя, не оборачиваясь, добавил: было бы лучше, если бы в следующий раз я вас тут не видел. Я собрал вещи и уехал в Кишинев. Почему туда? Там у мамы была знакомая – еще по Черемхово, где она со мной была в эвакуации.

Как я не стал известным деятелем театра и кино. В Кишиневе я сунулся в местную «Вечерку», замредактора спросил: что вы умеете делать? И когда я ответил, что пишу рецензии, он проницательно разглядел во мне робкого книжного мальчика и сказал: не надо! Поехал в районную газету, в Страшены (благо близко от Кишинева), писал обо всем, вплоть до вывоза навоза на поля. И через несколько месяцев снова пришел к тому же самому заму в «Вечерку». Взяли. В отдел промышленности. Править корявые статьи хозяйственников об экономической реформе было очень скучно. Но я писал и о театре. Театр я любил и понимал, в юности прочитал всего Станиславского, хотел быть актером. В конце концов, меня перевели в отдел культуры, которым заведовал Ефрем Баух, нынешний руководитель Союза русских писателей Израиля. (Кстати, уезжая, он отдал мне рукопись романа на хранение – вероятно, отдавал и другим, но сохранил его только я. И через двадцать пять лет в Одессе я отдал ему рукопись – она уже издана.)

Я воевал с главным режиссером русского тетра, который вульгаризировал тончайшие пьесы Теннесси Уильямса. Баух бегал со статьями в ЦК, что-то согласовывал. Видимо, будучи поэтом,

он чего-то недосогласовал, – в республиканской партийной газете появилась статья самого главрежа, в которой раз двадцать настойчиво повторялась моя еврейская фамилия. Редактор меня вызвал и велел о театре не писать. А сидеть в кабинете в ожидании посетителей было скучно. Скучал, пока не вышел срок – три года работы, дающие право на поступление в Союз журналистов. Членский билет был нужен: с ним меня уже никто не мог привлечь к ответственности за тунеядство. Получив его, ушел в театр, который организовали в Тирасполе. Тут я и заглянул за кулисы, и закулисы мне очень не понравилось. Мама моя уже жила в Одессе, на лето в отпуск я поехал к ней. И тут разразилась холера, мой отпуск роскошно затянулся, и в это время я познакомился со своей будущей женой.

Кем я еще не стал? Известным в России поэтом? Совершая чуть ли не дважды в год наезды из Перми в Дружковку, я всякий раз останавливался в Москве. Там меня в кругу литераторов очень радушно приняли. В доме Аркадия Акимовича Штейнберга я слушал, как читал стихи Тарковский. Аркадий Акимович достал из ящика стола бледную машинописную копию и дал мне прочесть, так сказать, «не отходя от кассы». Это была «Четвертая проза» Мандельштама, которая меня потрясла. (О, литературная злость! Кажется, и во мне она до сих пор кипит, – хоть и хотелось бы ее уже утихомирить.) Павел Антокольский буквально за руку привел меня в редакцию «Литературной России», – но публикация, увы, не состоялась. Не скрою, была возможность и жениться на москвичке. Тут бы и продолжал вертеться в литературном кругу – без чего, как известно, и публикаций не будет. Вот Боря Друкер, ставший Борисом Викторовым, с которым мы когда-то пили вино, отмечая в Кишиневе выход моей первой книги, удобно женился, и с кем только не был потом знаком, и даже успел и на Анти-Букер номинироваться, и умереть.

Анастасия Ивановна Цветаева, которой мой кишиневский знакомец передал стихи (подписав их моим журналистским псевдонимом), откликнулась бурно, как и положено Цветаевым. Благодаря ей (при содействии ее друга-редактора) подготовленный мной сборник оказался в издательстве «Советский писатель». Лежал долго, числясь в плане. Был обстрелян рецензиями. Види-

мо, колебались – дали на третью рецензию, ее написала Лариса Васильева. Рецензия – на удивление – была положительной. Начиналась она, как сейчас помню, словами: Илья Рудин, несомненно, поэт. Дальше шла критика. Но тут началась перестройка. Мне прислали письмо из издательства, предложили издать стихи в составе коллективного сборника. И опять наступил момент выбора. Я вдруг решил, что Илья Рудин – имя журналиста, не поэта. И написал: печатайте, но под фамилией Рейдерман! О результате этого шага предлагаю догадаться самостоятельно.

...Одесса не только после Перми, но даже после Кишинева показалась мне глубоко провинциальной. В местных газетах меня не печатали – исключением была «Комсомольская искра». Сколько там было статей за подписью Илья Рудин – в переводе на украинский!

Я старался не замечать своего литературного одиночества. Ярошевскому, которому показали меня издаелека, не прощу, что он ко мне не подошел. Голубовский меня нашел, прочитав обо мне в письме Анастасии Ивановны Цветаевой. Остальные не торопились. Так и жил – читал лекции через общества «Знание» и книголюбков. Растил сына. Читал книги. Кропал стихи в стол. Сын стал наркоманом, дважды сидел в тюрьме, тоже писал стихи, умер. Потом умерла и жена. Нужно было найти душевные ресурсы для новой жизни. Упав – отжаться и встать. Встав на ноги, женился на студентке. Кроме любви простой расчет: то, что сейчас делаю, сохранит. Но и полученный стимул дал результат: почти все стихотворное, что лежало в запасниках, издал.

**«В каждой музыке Бах,
в каждом из нас Бог».**

– О, уж это мы хорошо знаем. «Но видит Бог, есть музыка над нами...» (Мандельштам). Что бы мы делали, не будь ее «над нами», не будь небес духа, культуры? Высота и глубина, о которой я говорил, вместе образуют вертикаль. А иначе жизнь превращается в нечто плоское, как блин. Не случайно именно слово *блин* стало употребляться как жаргонное для обозначения всякой неудачи.

Спасительная высота и глубина мировой культуры. Среди умеющих жить в ней для меня высшие образцы Осип Мандель-

штам и Райнер Мария Рильке. Много лет я писал о музыке, улавливая то же созвучие, что и Бродский: Бах – Бог. И привык смотреть на все с этой высоты. Но ведь нужно побеждать неизбежное сопротивление времени, пытаюсь удержать «высокую ноту»...

«У каждого свой храм.

И каждому свой гроб».

– Про гроб не буду. Лучше – про храм. Когда я начинал, нужно было выбирать между Евтушенко и Бродским. Я выбрал нечто третье. Тютчева! Поэт-философ. Соединение этих двух начал дается трудно и кажется не совсем естественным. Будь только поэтом. Или только философом. Я, по правде говоря, не только в стихах философствую. Но вот зачем же в стихах? Возможно, иные мои стихи становились при этом несколько неуклюжими и тяжеловесными. Но надеюсь, что «голую рассуждательность» искупала музыкальность и лирическая стихия. Все же я – лирик, а это сегодня тоже редкость, ибо пишут как бы не от своего лица, стремясь быть всего лишь «объективными» повествователями и свидетелями современности.

Готов повторить вслед за Мандельштамом: «Нет, никогда ничей я не был современник!». Кому-то моя стилистика может показаться старомодно-высокопарной. Дескать, откуда у него право на пафос в мире, где господствует трезвый холодок и ирония? Но «старомодность» сознательна. Признаюсь, в ней есть тайный расчет на то, что новое выйдет из моды, и тогда неизбежно вернется к старому, которое покажется таким трогательными и хорошо забытым. Но для этого нужно жить долго. В надежде дожить до других времен.

Редколлегия поздравляет Илью Исааковича Рейдермана с 75-летием.

